

## ТРИ КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ Г-НА ИМРЕК

*Примеч.* Три следующие разбора написаны были еще для первого тома «Моск<овского> сборника»<sup>1</sup> след<овательно> почти уже год тому назад. Относительно выхода книг, в них разобранных, они и тогда уже были не совсем современны; теперь и подавно. Но для нас эти крити-

ческие статьи имеют важность не по достоинству и современности произведений в них разбираемых, а по мыслям, в них высказанным по поводу этих произведений. Всякий согласится, что можно сказать много вздорного, разбирая стихотворения Пушкина, и много дельного по случаю какой-нибудь поэмы г-на Майкова; и хотя бы сами произведения были уже давно забыты, но мысли, по поводу их высказанные — если они истинны и заключают в себе общий интерес — будут всегда современны. Москва никогда не гонялась за современностью внешнею и случайною. Мы почли однако ж нужным этими немногими словами оправдать помещение следующих критических статей, и, предупредив суждение читателей, обратить их внимание не на внешний их повод, а на внутреннее содержание.

*Ред.*

*І. Вчера и сегодня.  
Литературный сборник,  
составленный гр. В. А. Соллогубом,  
изданный А. Смирдиным.  
Книга первая. Санкт-Петербург, 1845*

В сборнике, как в голосе не одного человека, а нескольких, находится более или менее общее направление, общий голос; это хор, и потому, хотя один голос иногда и более заключает в себе существенного, но так как хор есть всегда выражение, по крайней мере, количественной стороны общества, хотя бы при отсутствии качественного значения, то он интересен и заслуживает внимания и разбора. Издатель сборника «Вчера и сегодня» гр. В. А. Соллогуб, имя известное в нашей литературе; тем интереснее эта книга. В ней по обыкновению есть проза и стихи; посмотрим сперва на прозу.

Первая прозаическая и вообще первая статья, с которой начинался сборник, это повесть князя Одоевского<sup>2</sup> «Сиротинка». В изумлении, более нежели в изумлении, были мы, прочитавши ее. Это повесть, в которой выводится, хотя слегка, народ. Сцена повести — деревня. Всегда с невольным, горьким чувством и с негодованием читаем мы такие повести, где изображается (будто бы изображается) наш народ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно от него оторванный, лицо отвлеченное, как все, что оторвано от народа, когда такой писатель, полный чувства своего мнимого превосходства, вдруг заговорит снисходительно о народе, могущественном хранителе жизненной великой тайны, во всей силе своей самобытности предстоящем пред нами, легко и весело с ним расставшимися. Писатель не трудится над тем, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать в нем нечего; ему стоит только снизойти написать о нем. Противно видеть, когда он,

для вернейшего изображения, прибегает к народному будто бы оттенку речи, к народным выражениям, дошедшим до его слуха чрез переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарад, такая милостивая подделка, особенно когда пишут для народа, оскорбительна. В таком роде и повесть к. Одоевского, которая теперь перед нами; но, кроме этого рода, самая повесть не менее, если не более, заслуживает изумления. Вот в чем дело: бедную девочку, сиротинку Настю, какая-то боярыня увозит в *колымаге* в *Питер*. Чрез несколько лет Настя возвращается в деревню. *Питерское* воспитание сделало из Насти просто чудо; она уже одета не по-русски, не по-крестьянски. Мало того, что она необыкновенная рукодельница, она... она — совершенство. Вот она начала мало-помалу преобразовывать всю деревню, начиная сперва с мальчиков и девочек: она учит их всему; она говорит детям, что красть не хорошо и что бог это увидит. Неужто же такие слова новость для деревни; неужто же г. автор думает, что надо съездить в Питер, чтоб это узнать, что в деревнях воруют без всякого зазрения совести, а в городе не воруют? Далеко же простирается смелость мысли писателя! Настя вместо старинных сказок, которые рассказываются в народе, сказок, созданных всем его духом и воспитывающих глубоко и действительно детский возраст, рассказывает им *сказочки*, вовсе на них не похожие, сказочки, в которых есть прямая мораль, но в которых, можем сказать, нет ничего истинно нравственного, — и таким образом исправляет детей:

«Между тем дети притихли, — Настя обернулась к ним, ударив в ладоши, затянула песню, и все дети, став один за другим, принялись подтягивать ей всем хором и, ударяя в ладоши, мерным шагом ходили вокруг Насти, смеясь и ободряя друг друга, а за ними и Никитка туда же.

Священник с удивлением смотрел на эту, необыкновенную в наших селах, картину» (стр. 8).

Как необыкновенную? Необыкновенная картина, что дети в деревнях поют песни? Да выезжал ли уж, полно, из Питера г. автор?

Сам священник поражен Настей и спрашивает ее, как она сделалась такою чудною девочкою? Кто ее научил всему доброму? Загадка разрешается: Настя рассказывает, что она воспитывалась в детском приюте. Между прочим, она говорит:

«В это время я будто начала просыпаться; стала понимать, что значит хорошо или худо делать, а всего больше — научилась молиться» (стр. 11).

Потом Настя перешла в частную школу; оттуда она все почерпнула. Начав рассказ, она говорит:

«Признаюсь вам, батюшка, что деревня показалась мне совсем иною, чем прежде; не то, чтобы и возгордилась; но не могла я не спросить себя: отчего я умею и читать, и писать, и опрятно я одета, и могу себе хлеба кусок добыть, а другие, такие же, как я, из той же деревни, живут себе — так, а маленькие дети даже не знают, какой рукой перекреститься, правой или левой; и пришло мне на память прежнее мое житье в той же деревне, и как я тоже не знала, какой рукой перекреститься; и отчего я стала совсем иная?» (стр. 13).

Как! она не знала, какой рукой перекреститься маленькая и узнала об этом в Петербурге; указывает на это, как на выгоду своего воспитания там! Как! Так г. Одоевский думает, что у нас в деревнях не от кого узнать и никто не научит, какой рукой перекреститься, а для этого надо в Петербург ехать? Так г. Одоевский думает стало, что не только маленькие, но и народ не знает, какой рукой перекреститься? Как назвать это мнение? Как смотреть после этого на г. автора? Здесь уже нет места смеху; здесь... но, быть может, это дурно выражено, неясно. Хотя и далеко простирается фанатизм г. автора к тому, что все, все дается только школами бедному жалкому народу; но мы думаем, что г. автор не хотел высказать такого мнения, которое выходит из слов его.

Отец Андрей, священник, тронутый тем, что Настя преобразовывает и воспитывает в нравственном отношении все село и, следовательно, выполняет таким образом обязанности его, отцов и матерей, — предлагает ей особую светелку у себя для продолжения ее поучений во время зимы. Пример Насти подействовал на самого священника, потому что жена его и он сам стали наставлять ребятишек. Наконец:

«Когда крестьяне узнали об этом, то уже стали сами посылать детей к Насте, а иные и сами приводили, да, приподя, останавливались и прислушивались и даже потихоньку плакали от умиления; *ино-место* и мужик забывал об елке в праздник, засматриваясь на потеху детей; и часто мать стыдила взрослого сына, показывая ему на маленьких. Скоро Настя при пособии матушки достигла до того, что не только лохмотья на ребятишек были зашиты, но и сами матери, посмотрев раз, два на детей чистых, опрятных, уже стыдились водить их замарашками, да и сами, глядя на детей, сделались попорядочнее (стр. 14).

...По воскресеньям дети парами ходили в церковь...

Парами! Это также немаловажная сторона совершенствования! Жаль, не сказано, что они ходили в ногу, тогда это еще было бы возвышеннее. Итак:

По воскресеньям дети парами ходили в церковь, не кричали и не завали по сторонам, как бывало, а тихо становились на клирос и подтягивали дьячку, а миряне, тронутые чистыми детскими голосами, молились усерднее прежнего» (стр. 15).

И так все село возвышено и преобразовано; преобразован народ, имеющий кой-что в своих воспоминаниях, имеющий, как народ, тяжесть и твердость действительности в своих движениях и переходах, — преобразован так легко и скоро Настей, воспитанной в Петербурге. Она научила его молиться; он не умел этого, конечно!.. Но никакая в свете Настя и никакой в свете образованный и воспитанный человек не может стать на ряду с народом и осмелиться наставлять его в этом чувстве — его, силою веры прогнавшего столько врагов иноплеменных. Можно ли так легко судить о народе, так легко воспитывать его посредством какой-нибудь Насти, такого отвлеченного и легкого лица; так не знать глубины и убеждений и многого, многого в народе, что для Насти темный лес и где бы тысячу раз она потерялась и пала бы, почувствовав и поняв свое бессилие, если б, к счастью, могла хоть сколько-нибудь понять его. Можно ли это? Что сказать о таком поступке? Поневоле делаешь этот вопрос.

К счастью, Настя и ей подобные не понимают и не могут приблизиться даже к глубокой стороне народа: это для них непроницаемая тайна, запертое святилище.

Окончание повести фантастическое.

Мнение наше об ней высказано, кажется, довольно ясно; но вот что мы считаем нужным прибавить.

Настя, при всей своей неестественной и смешной стороне, стоит однако, чтоб обратить на нее внимание: сколько людей именно в наше время, именно в нашей земле, таких, которые оторвались от народа, от естественной тяжести союза с ним, умеряющей и утверждающей шаги человека, дающей ему действительность, и пошли летать и носиться, полные гордости и снисхождения, — таких людей, которые, будучи одеты в европейское платье и заглянув в европейские книги, выучившись болтать на чужом языке и приходить как следует в заемный восторг от итальянской оперы, подходят с указкою к бедному необразованному народу и хотят чертить путь его народной и внутренней и внешней жизни. Хотя бы они поглотили, в самом деле, всю европейскую мудрость, но если они оторваны от народа и хотят оставаться в этой оторванности, в этом попугайном развитии, если они свысока смотрят на него, — они ничтожны. Итак, Настя явление поучительное. Ошибка автора в том, что когда такой человек, как Настя, прикоснется к народу, то совсем не видит таких результатов, какие придумал г. автор; напротив, как мыльный пузырь лопнет такая попытка, если только при перевесе силы на ее стороне она не сдавит внешним образом народа.

Энтузиазмы бывают разного рода: мы не можем отказать автору в необыкновенном энтузиазме и особенного рода, который заставил его забыть, что русский народ и молиться

умеет, и что много в нем великих самобытных начал жизни: энтузиазм — что делать?

Уже не написал ли к. Одоевский фантастическую повесть, которых он писал так много? Но нет, это слишком смелая фантазия.

Про Шиллера говорили, что он творит субъективно, что Дон Карлос<sup>3</sup> его собственный идеал. Для этого не нужно знать автора, чтобы так посудить о нем. То же можно сказать и про к. Одоевского, говоря про эту повесть. Он создал Настю субъективно; Настя его собственный идеал. Такое суждение должно быть лестно для г. автора, судя по тому, как он выразил себя в этой повести.

Скажем в заключение: изумительно сочинение такой повести, не менее изумительно помещение такой повести.

Но довольно о «Сиротинке» к. Одоевского. Мы достаточно уже о ней говорили и для читателей, думаем, и для себя. Неприятное чувство соединено с впечатлением этой повести; довольно; поговорим о другом, которое, надеемся, не должно быть так неприятно.

Вторая прозаическая статья: «Гаврила Петрович Каменев»<sup>4</sup>, чрезвычайно интересна. Это — известия, сообщенные о нашем писателе прошедшего столетия, преимущественно письма. В них интересно и то, что определяет его лично, и то, что определяет его современников. Это был чувствительный период нашей литературы. Карамзин тогда не достигал еще сознания, которого достиг он впоследствии, сознания народности. После великого переворота заводили фабрики, пересаживали разные растения, не забыли и литературы: пересаженная литература принялась. Название литераторов было какое-то титуло, название особенного сословия, и литераторы наши, обезъянничая болес или менее, были счастливы своей судьбой, достигали и чинов и почестей, и совсем позабыли про народ. Отделившись от него, они не замечали его существования и жили себе спокойно. Так легко, так хорошо, казалось, было писать повести, стихи, подражать, переводить. Это было так возвышенно и благородно, препровождение времени такое человеческое, интересы высокие, и люди, посвятившие себя таким интересам, так уважались всеми! Да, так казалось; но все это была ложь, маскарад, декорация. Надобно было много таланта, чтобы пробиваться сквозь богатую мишуру и страшную отвлеченность. Чрез несколько лет, только после 1812 года, является, наконец, возвращение — истинный шаг вперед — к своему народу, освобождение от умственного ига. Карамзин, принявшись за русскую историю, и особенно в последних томах своего великого произведения и в других мелких позднейших своих сочинениях, начал сознавать значение народа и его самобытность. Еще прежде, как противник

грешного Карамзина, Шишков<sup>5</sup> противоборствовал подражательности; это было благородное, но темное стремление, и скорее в пользу церковнославянского языка, который он считал древним русским. Ему недоставало знания, но благородно и прекрасно было его направление. И после 1812 года долго неясно было это стремление, пока, наконец, теперь не начала спадать пелена с глаз наших; бодро и молодо раздается могущественный голос народа в наших душах вновь нам звучащий, вновь нам и доступный и слышный. Запоздалые предыдущего, иностранного, подражательного направления усиливаются удерживать его, противоборствовать новому то бранью, то насмешкой, возвышают голос более, нежели когда-нибудь... но на минуту темнее становится ночь перед решительным рассветом, и когда подыметя солнце, резче обозначатся тени. Ложному подражательному направлению не победить истинного, естественного, здорового стремления к самобытности и к народности.

Итак, Каменев принадлежал еще к карамзинскому периоду прошедшего столетия. Во всем, что он пишет, виден человек умный и даровитый. В его письмах является Карамзин, еще совсем под влиянием иностранным, изображается, хотя слегка, круг литераторов, это братство, братство высокое, увы! в сущности столько надменное и отвлеченное и ложное. Мы очень благодарны г. Второву за сообщение таких интересных и важных для литературы сведений.

В отрывках повестей Лермонтова<sup>6</sup>, хотя очень неполных, нельзя не узнать автора, его взгляда, приема и этого особенного, сжатого и несколько сухого слога, который так хорош и так напоминает Пушкина. Мы считаем, здесь не место говорить о Лермонтове, это предмет отдельной статьи.

Статья «О Шиллере и Гёте из писем современника»<sup>7</sup> очень интересна. «Артемий Семенович Бервенковский»<sup>8</sup> вовсе не замечательный рассказ, хотя легко читающийся. «Собачка», повесть гр. Соллогуба, рассказана легко и живо.

Вот и все прозаические статьи. Дух и направление выражается только в повести к. Одоевского. Повести Лермонтова только отрывки. Остальные же не носят на себе никакого особенного отпечатка.

Теперь стихотворная часть.

Жуковского «Капитан Бопп» написан хорошими пятистопными ямбами, что не удивительно в нашем знаменитом поэте.

Из стихотворений Лермонтова, большею частью обыкновенных<sup>9</sup>, особенно хорошо «Казбеку», кроме последних четырех стихов. Оно может стать на ряду с лучшими; вот оно:

Спеша на север издалека,  
Из теплых и чужих сторон  
Тебе, Казбек, о страж Востока!  
Принссит странник свой поклон.

Чалмою белою от века  
Твой лоб наморщенный увит,  
И гордый ропот человека  
Твой гордый мир не возмутит.

Но сердце тихого моленье  
Да отнесут твои скалы  
В надзвездный край, в твое владенье —  
К престолу вечному...

Молю, да снидет день прохладный  
На знойный дол и пыльный путь,  
Чтоб мне в пустыне безотрадной  
На камне в полдень отдохнуть.

Молю, чтоб буря не застала,  
Гремя в наряде боевом,  
В ущелье мрачного Дарьяла  
Меня с измученным конем.

Но есть еще одно желанье...  
Боюсь сказать... душа дрожит...  
Что... если я...  
Совсем на родине забыт!

Найду ль там прежние объятья?  
Старинный встречу ли привет?  
Узнают ли друзья и братья  
Страдальца после многих лет?

Или, среди могил холодных,  
Я наступлю на прах родной,  
Тех бодрых, пылких, благородных,  
Деливших молодость со мной?

О! если так... своей метелью,  
Казбек, засыпь меня скорей,  
И прах бездетный по ущелью  
Без сожаления развей!

(стр. 93—94)

Отчего так прекрасны стихи?

Молю, да снидет день прохладный  
На знойный дол и пыльный путь...

Трудно сказать. В них какая-то простота, какое-то называние вещей своим именем, что высоко изящно, напоминает даже изящество древней греческой поэзии. Таковы же стихи Лермонтова:



Горные вершины  
Спят во тьме ночной;  
Тихие долины  
Полны свежей мглой;  
Не пылит дорога,  
Не дрожат листы...

У него не раз встречается эта красота поэзии.

Стихотворения Языкова<sup>10</sup> — так же прекрасны, как и прежние его стихотворения, и хотя содержание их в этом сборнике незначительно, но в них тот же оригинальный, образный русский стих, который всегда как будто говорится и печатается, стих, которым так чудесно владеет (владел!) Языков; это также предмет особенной статьи.

Остальные стихотворения более или менее гладки, более или менее недурны. Но особенно приятно и неожиданно поразило нас маленькое стихотворение «Ты знаешь их», подписанное А. Од-ий<sup>11</sup>. В этом стихотворении есть что-то мужественное, что так редко или лучше вовсе не встречается в стихотворениях наших юных поэтов, где они большею частью или с гордостью говорят о своем милом эгоизме или вяло и зевая объявляют, что они уже не любят и что они в апатии. Это стихотворение «Ты знаешь их» тем сильнее поразило нас, что оно следует прямо за «Вариациями» г. Тургенева<sup>12</sup>, в которых виден собственно тот же натянутый сухой эгоизм и также зевающая апатия. Напр.:

А теперь этот день нам смешон,  
И порывы любовной тоски  
Нам смешны, как несбывшийся сон,  
Как пустые, плохие стишки.

(стр. 66)

Как пример искажения эстетического чувства можно привести стихотворение г. Бенедиктова<sup>13</sup> «Ревность». Правда, что это в его роде, но поневоле приходит мысль, уж не пародия ли это?

Довольно о сборнике «Вчера и сегодня», представляем читателю вывести заключение из слов наших.

*II. Опыт истории русской литературы.  
Сочинение э. профессора имп. Санктп. университета  
доктора философии А. Никитенко<sup>14</sup>.  
Книга первая. Введение. Спб. 1845*

Перед нами книга, важная по своему заглавию, интересная и по имени сочинителя, известного в нашей литературе. Это только первая книга, в ней заключается введение, в котором излагаются общие начала. Общие начала — очень важны; они должны составлять душу всего сочинения; следова-

тельно, в них заключается главное достоинство или главный недостаток. Случается, что часто исполнение противоречит общим началам; но это заключение сюда нейдет, ибо остальные части труда нам неизвестны. Итак, внимательно посмотрим на это новое явление в нашей литературе.

Мы прочли книгу и пришли в полное недоумение. Мы хотели посвятить ей пространный и обстоятельный разбор, в котором, если бы мы были несогласны с сочинителем, хотели сделать ему подробные возражения и высказать наше мнение о предмете его книги. Но это решительно невозможно; для этого надобно, чтобы в книге было *что-нибудь*, *что-нибудь* положительное, твердо ясно поставленное, *что-нибудь* наукообразное. Если мы спросим самих себя, какое впечатление осталось в нас по прочтении книги г. Никитенки, то придем в большое затруднение. Множество гладких и выглаженных фраз, кой-какие звонкие слова, множество читанных и недочитанных, слышанных и недослышанных мыслей; все это обращается в такой хаос, без основной мысли, без всякой целости, и в то же время хаос нарядный, по-видимому даже стройный, — что не скоро решишь заданный себе вопрос. Странно то, что в этом сочинении попадаются, впрочем редко, мысли верные, кажется, даже хорошо сказанные; но они попадают без всякой причины и без всякого следствия, без всякого плода; видно, что их не усвоил автор, что не поселились они в его душе, не тревожат его постоянно и не рвутся наружу. Вам, верно, случалось встречать людей, которые говорят необыкновенно гладко, непрерывно; фразы вяжутся одна с другой; они льются, льются, как река, безостановочно, и ничего нет в словах их. В речи их попадают мысли, но мысли эти теряют всякую силу, всякую живую сторону и обращаются в голые слова. Впечатление тяжелое и неприятное в высшей степени; вы чувствуете утомление, вы чувствуете, что после всей многосложной речи у вас остается пустота, *ничто*; *ничто* не беда, если б ничего и не было говорено; но *ничто* невыносимо тяжело, оставаясь в результате тогда, когда говорилось *что-то*. Только этим сравнением можем мы объяснить впечатление, оставляемое книгою г. Никитенки.

Итак, обстоятельный разбор, как разбор книги ученой, решительно невозможен при этом «Опыте истории русской литературы»; но мы не хотим ограничиться объяснением общего впечатления; постараемся оправдать его выписками из автора, обозначить подробнее характер его произведения и указать на некоторые замечательные места, которые могут служить отличительными его особенностями.

В первых трех главах г. сочинитель говорит об *идее и значении истории литературы; о методе изучения истории литературы; об источниках истории литературы.*

Напрасно стали бы мы искать здесь общих начал; их нет; есть какие-то толки о литературе, о ее методе и источниках, толки, характер которых мы определили в самом начале. Г. сочинитель в своем сочинении вообще не определяет сферы изящной, его идеи и т<ак> д<алее>, а разговаривает с этими предметами, как с лицами, уговаривает г-жу Литературу не обижать разума, а г. Разума смягчиться изящным, и т<ак> д<алее>. Надо прибавить, что в речи сочинителя часто является еще чувствительность. Но пусть лучше сам говорит г. сочинитель.

«Прилично ли литературе, забыв выгоды своего орудия, ограничиться одним каким-нибудь направлением мысли, хотя бы то даже была идея изящного? В мысли возникают и решаются и другие великие задачи, коих сущность состоит не в идее изящного, хотя они и доступны ее благодатному наитию и озарению. Должна ли литература их отвергнуть, потому только, что быв удостоена титла изящного искусства, она обязана уже исключительно иметь дело с идеалами — она, наперсница разума, для которой должно быть дорого все разумное и доблестное, все, чем мысль возвеличивает, назидает, руководит человека?» (стр. 14).

Как тут может быть: «прилично ли, должна ли?» Надо определить литературу, что она такое, и когда из существа ее вытечет, *что ей прилично и что она должна*. Какой странный, увещательный способ изложения. Но это еще ничего. Далее:

«Правда, наука может существовать и без литературы; но это будет существование властелина без любви граждан, с правом повелевать без уменья и возможности делать их счастливыми. Ей будут воздавать приличные почести, как в века схоластизма, но без нее будут уметь обходиться везде, где своекорыстие и страсти захотят выполнить свои темные замыслы» (стр. 31—32).

Что это такое? Неужто же это упрек науке, что своекорыстие и страсти и пр. обходятся без нее? Очевидно, г. сочинитель не то хотел сказать; это только неуменье писать по-русски, это плод его *льющейся* речи.

«Ибо без литературы, кто прольет в науку чувство человеческих потребностей и эти потребности, подняв в самом прахе на самом дне общества, возвысит до воззрений науки? Не ведая их, на своей царственной высоте, она ревностно станет заботиться о славе человеческого разума, об истине, о своем бессмертии, о всем благородном и прекрасном, кроме того, что существенно благородно и прекрасно, кроме делания людей благородными и прекрасными».

Через несколько строк:

«Что наука производит медленно в тесном кругу избранных, то литература с помощью своих разнообразных форм и живого, одушевленного,

изящного слова быстро делает повсюдным. Величественная, строгая, как история и эпопея, животрепещущая и осязательная, как драма, поучительная и глубокая, как философия, страстная и увлекательная, как речь оратора, или легкая, игривая, улыбающаяся, как песня любви, она уважает все потребности, все состояние, все возрасты, меняет образы, краски, звуки, говорит в одно время уму, сердцу и воображению» (стр. 31, 32, 33).

Но это еще не все; выпишем еще несколько мест для яснейшей характеристики автора:

«С другой стороны, чувствуешь, что разум уважает права, нужды и даже невинные прихоти действительности, что он не запирается в свои подоблачные чертоги, чтобы своими отвлеченными, строгими догматами устрашать оттуда умы человеческие, а не править ими. Неизъяснимо отрадно видеть, как жизнь, вообще столь шаткая и грустная, доверчиво простирает объятия свои к силе, где сосредоточивается и хранится неизбежный закон и непреложный порядок, и как эта сила приветною улыбкою милости озаряет вокруг себя суровый мрак могущества беспредельного и неодолимого» (стр. 46).

Вот образец особенной чувствительности:

«Могущество это чувствуют, его благословляют или клянут: оно вызвало ряд деяний. Хотя заглянуть в лицо ему, столь победоносно властвующему: его никто не увидит, лица этого нет; это что-то неосязасмес, чем пар вашего дыхания, чем робкий вздох девственного сердца, когда оно в первый раз чувствует жажду любить; это идея без вещества, без имени, но полная слез, восторгов, мук, блаженства и славы» (стр. 53, 54).

В том же духе:

«Здесь (в усилиях науки понять основание всего) наука изменяет своему строгому, испытующему характеру; она забывает священное помазание правды и достоверности, которыми опыт уполномочивает ее царствовать над миром мысли; из скромной, важной, величественной жрицы Истины она становится догадкою, предположением, умствованием, системой, софизмом; она возбуждает к себе недоверчивость и сомнения, столь противные ее чести и благу людей, и вдается в ребяческие состязания с здравым рассудком, который отходит наконец в сторону от своей благородной и прекрасной сестры, чтобы в тишине и одиночестве сетовать о ее нецеломудренных поползновениях» (!!!) (стр. 58—59).

Но мы устаем выписывать; однако вот еще несколько примеров:

«Умная, благовоспитанная, т. е. историей воспитанная философия, вовсе не имеет глупой гордости думать, будто бы она вещам может давать направление без их, так сказать, ведома и сочувствия, вопреки их природе, по собственному идеалу истины» (стр. 67).

Какой же философ скажет это? и если найдется философия, которой можно сделать этот упрек, то какая же философия сама это думает?

Вот еще пример:

«Несмотря на блестящие замыслы и прикрасы, они все как-то похожи на ученый трактат, решающий какую-нибудь отвлеченную задачу ума: они принадлежат идее, а не людям, а известно, что идея без участия в человеческих нуждах, без слез и улыбки, прекрасна, но холодна как кокетка, любящая жертвы, но ни одного из жертвователей (!!!). Специалист-мыслитель или специалист-дилетант может наслаждаться этими произведениями с утонченной сибаритской роскошью, которая любит не одни вкусные блюда, но и вкусные мысли; но кто человечество ставит выше ремесла, тот не будет довольствоваться одним искусством изображения, изящным исполнением, удачными оборотами мысли и речи — второй гимнастикой таланта, в которой он выказывает и силу и ловкость свою; он потребует от таланта красоты, но красоты, вылитой из нужд, страстей, желаний и надежд наших, потому что хотя она и дочь неба, однако ж должна жить в святом и целомудренном браке с сердцем человеческим» (стр. 70—71).

Вот еще один пример:

«Отсюда произошли все эти заносчивые и вместе жалкие теории словесности, которых боялись школьники и не слушались таланты и которые однако ж, быв облечены незаконно в сан науки, затрудняли общий ход литературы, как брюзгливая старая надзирательница затрудняет ворчаньем своим милое и грациозное обращение молодой девушки» (стр. 87).

Но довольно; надеемся, мы показали достаточный образец этой бесплодной речи, в которой одно слово погоняет другое без всякой внутренней причины, — речи, лишенной всего внутреннего. Антропоморфизм<sup>15</sup> в рассуждениях г. автора доходит до невозможной степени. Литература, наука чувствуют, сердятся друг на друга, живут в браке. Право, почти ожидаешь, что он начнет описывать, какие лица у литературы и науки, скажет, белокурая ли одна и черноволосая ли другая. Нельзя не убедиться также (это видели мы из вышеприведенных примеров) в нежности и сентиментальности сердца г. сочинителя.

Обратимся к другой стороне, постараемся из этого хаоса и чувствительных описаний достать какое-нибудь положение.

Г. Никитенко думает, что определяет литературу так:

«Литература есть мысль человеческая, возникающая у народа вместе с ним из его духа, жизни исторических и местных обстоятельств, и посредством слова выражающая свое народочеловеческое развитие под совокупным влиянием верховных и всеобщих идей истинного и изящного» (24—25).

Итак, литература — это мысль под влиянием идей истинного и изящного. Мысль под влиянием идеи истинного? Но мысль есть сама явление истины; если же она под влиянием истинного, то она, следовательно, есть что-то вне истины находящееся; стало быть, она не истина, даже, может быть, ложная мысль и только находится под влиянием истины. Что же она такое? *Под влиянием идеи истинного и изящного.* Но что же такое изящное, как не истинное в образе, в непосредственном представлении? И что же такое после этого литература по будто бы определению г. Никитенки? Бог знает что; здесь нет даже положительной ошибки, нет даже ложного мнения; не на что даже напасть; а все разваливается, как только возьмешь в руки: ибо нет смысла.

Г. Никитенко между прочим говорит:

«Метода науки так определена, что ее можно найти и изучить в любой логике» (стр. 29).

Каково вам это покажется? Мы бы желали встретить эту «любую логику». Вся исполинская сила логики Гегеля направлена именно на то, чтобы определить, явить науку; и кто сколько-нибудь знаком с его логикой, тот знает те умственные усилия, которые надо совершать, чтобы подвигаться в ней на полшага, тот испытал то трудное дыхание от разряженного воздуха логической сферы; а г. Никитенко нашел методу науки в любой логике!

Вот еще мнение:

«Литература может быть очень правильною, очень художественною и в то же время безжизненною и непривлекательною, то есть чуждою интересам сердца человеческого, интересам века, в которых зреют, мужают, делаются существенными и историческими великие и всеобщие истины» (стр. 42).

Литература может ли быть художественною и безжизненною в одно время? Странное заключение.

Из приведенных примеров мы видели, как нежен и чувствителен г. Никитенко, — так нежен, что даже сам Манилов уступит ему в приторности; но посмотрите, как нежный г. сочинитель иногда выражается:

«Она (народность) может говорить, напр., совершенно по-русски, не только языком Бовы-королевича<sup>16</sup>, но и языком Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина. И без сомнения — в наше время она гораздо более делает себе чести, изъясняясь их очищенным, художнически усовершенствованным, народночеловеческим словом, чем речью брадатых стилистов толкучего рынка и их безбородых подражателей» (стр. 77).

Но, впрочем, что же? Нежность и деликатность должны быть для высшего сословия, для лиц высшего круга общества;

ведь низшее этого не понимает. Почему, подавши учтиво перчатку даме, ее уронившей, не толкнуть тут же локтем бородатого мужика?! Как вы думаете?

Наконец, в главе IV г. Никитенко говорит о идее и значении истории литературы русской.

Здесь является безусловный панегирик Петру Первому. Между прочим, г. автор говорит:

«Между тем, как таким образом все переменялось, или, лучше сказать, запутывалось на высоте общественных понятий и верований, из недр материальной силы народа возникало чудовище дикое и свирепое, с жаждою крови, вина и денег, соединявшее в своем зверском *брадатом* лице все ужасы, все пороки, весь осадок татарского элемента — мы говорим о стрельцах».

*В своем зверском брадатом лице?* Отчего же так? неужто борода имеет в себе что-нибудь зверское! Бороды особенно не любит г. Никитенко. И какой татарский элемент в стрельцах? Далее:

«Владея пищалью не как благородным оружием, а как дреколием...»

Разве не случается, что дреколие подымается за правое дело, как, например, в 1812 году; а пищаль, напротив, служит делу ложному? Но дреколие — это оружие крестьянское, и потому г. Никитенко считает его неблагородным? Если же г. автор думает, что стрельцы употребляли пищаль, как дреколие, то мы смеем его уверить, что они умели стрелять и стреляли из своих пищалей. Г. Никитенко продолжает:

«Нестройное и чуждое успехам своего *ремесла*, это сословие *трусливое* перед неприятелем и храброе только перед мирными гражданами, вдруг захотело свою неистовую волю поставить в число первенствующих общественных начал...» (стр. 114).

Трусливое перед неприятелями! И это можно сказать! Разве не стрельцы дрались в 1612 году с поляками? Разве не с стрельцами возвращал царь Алексей Михайлович большую часть завоеваний России? Что вы скажете на это г. сочинитель? Но впрочем, что вам до этого за дело, когда эти люди были с брадатými лицами.

В этой главе и вообще во всей книге много и очень много еще замечательностей в подобном роде, но пусть, кто желает, сам читает книгу г. Никитенки, если только имеет на то довольно терпения. Вот, однако, отрывок:

«Спрашивается, что должен был бы сделать тот, на чью ответственность провидение взложило бы бодрствовать над судьбою царства в этот роковой момент и спасти его?.. Что бы он сделал? Не должен ли бы

он был продолжать начатое судьбою и требуемое ею изменение? Но по каким началам? Без сомнения, по тем, которые могли бы в одно время и обуздать дикие физические страсти и открыть народному гению неизмеримое поприще развития и усовершенствования, к которому он способен, как истинный славяно-европейский гений. Где же бы он нашел их? Конечно, не в Азии, не в разбойничьем татарском стане, не в исторических опытах и покушениях, потому что это начало человеческой образованности, науки, искусства, всех успехов гражданских, а их там не было. Одна Европа могла передать их нам, потому что имела их и жила ими» (стр. 117—118).

Можно ли читать подобные руссуждения? Если Петр должен был искать начал, то он должен был искать их у себя, в самом народе. Без зерна не вырастишь дерева, без зерна можно сделать только искусственное раскрашенное дерево, с натыканными глиняными плодами и бумажными цветами. Но в русском народе есть начала, и хотя Петр Первый приносил начала чуждые, но народные начала сохранились и до сих пор в простом русском народе.

Несколько далее г. Никитенко говорит:

«Что за важность, если бы даже для облегчения на этой дороге пришлось бросить некоторые из старинных привычек, надеть новое платье, выбрить бороду, пить для подкрепления сил чай и кофе вместо охмеляющего питья, отдыхать от трудов в опрятных и удобных домах, вместо дымных логовищ?» (стр. 118).

Логовищ! Место, где живет дикий зверь! Так называет г. Никитенко наши крестьянские избы! Ибо ни к чему другому не могут относиться его слова. Если он говорит про прошедшее, то бояре и прежде Петра не жилали в дымных палатах; а наши бедные дымные избы носят на себе и теперь весь отпечаток древней Руси; итак, к ним только могут относиться эти изумительные слова. Но оставя в стороне такую нежность выражения, которую, видно, допускает просвещенный и гуманный европеизм г. автора, спросим: разве это зависит от выбора — опрятный и удобный дом? Разве нет тут материальных условий богатства? Разве не согласился бы всякий променять дымную избу на избу (или дом), построенную опрятно и удобно? — Кажется, этого не нужно доказывать. — Полагать же упрек бедности на народ, который живет в дымных логовищах, как имел дух сказать г. Никитенко, — это невыносимо.

Панегирик украшен также подобными натянутыми выражениями.

«Между звеньями цепи татарской не было ни одного, от кого бы можно было начать ряд гражданских и умственных успехов» (стр. 116).



Или опять:

«Гению нашему предстает широкое поле умственных подвигов и славы; на челе его печать могущества; его физиогномия оттенена чертами не монгольского типа; благородная, умная, живая, она дышит жаждою знания и творчества» (стр. 124).

Право, ждешь, что будет описание цвета волос, формы носа и т<ак> д<алее>.

В заключении г. сочинитель говорит:

«Итак, к чему умствовать суетно и бесплодно о будущих судьбах России, которых нет в пределах нашего знания, конечно, потому, что они будущие» (стр. 121).

Это он говорил и в начале; но тут он очень ошибается. Если настоящего нельзя понять без прошедшего, то нельзя понять его и без будущего; будущее находится в настоящей жизни, как то, чем она должна быть, к чему стремится она, чем она будет, следовательно, по мнению всякого человека, в ком есть убеждение. Следовательно, в настоящее непременно должно входить будущее или, другими словами, существенно лежащее в настоящем. Здесь равное место суждению о настоящем времени и о том, чем оно должно быть, о будущем, следовательно, к которому оно ежеминутно подвигается. Говоря таким образом о перевороте Петра, г. сочинитель или сам судит о будущем, или же привязывается к ограниченному кругозору настоящего времени, считая *все, что теперь*, безусловно истинным, и следовательно, не может судить вообще о существенном. Не нужно и говорить о ложности последнего воззрения, опровергаемого ежеминутно ходом вещей.

В гладкой речи часто встречаются очень плохие и неверные выражения — их много у г. Никитенки. Вот некоторые:

«Современность всегда немножко *ябедничит*» (стр. 88).

По-русски говорится: *ябедничает*.

На равнинах, *отпертых* отовсюду бурям (стр. 96).

Ни один русский так не скажет; *отпереть* не значит открыть или освободить от всяких преград, *отпереть* предполагает непременно дверь, ворота или вообще свободное пространство между преград, могущее быть запертым.

Не пробуждая ни в ком ни одного *плодоносящего* убеждения (стр. 99).

Опять все претензии сказать как-нибудь по-своему. Что значит *плодоносящий*? У нас есть слово *плодоносный*, значение которого ясно. *Плодоносящий* значит *носящий плоды*;

можно бы подумать, что говорится о разносчике плодов. И т. д.

Нельзя не заметить также какого-то канцелярского чиновничьего слога. Напр<имер>, желая как можно выше похвалить идеи, г. Никитенко говорит:

В натуре этих великих идей есть что-то столь священное и августейшее... (стр. 19).

Или:

...возвышенные идеи науки излагаются у них с такою общепонятностью и простотою, как будто бы над ними трудилась вся лучшая часть общества, а не один уединенный член, чиновник, так сказать, палаты просвещения (стр. 45).

Или еще:

Она (история) часто отвергает приговоры критики, пред ее трибуналом судьи становятся подсудимыми, и критика для нее не более, как докладная записка, которую современность представляет потомству о судьбе литературы и проч. (стр. 88).

Несколько далее:

Критика для нее (истории) не есть убеждение, а такой же материал, как и все другие справки в деле, материал однако же необходимый и важный.

И пр<очее> и пр<очее>.

Довольно; мы высказали еще в начале статьи впечатление, производимое книгою г. Никитенки; подтвердили его, надеемся, разбором этой книги и, сверх того, сказали о самом содержании ее. С горьким чувством произнесли мы о ней наше суждение. Не то желали бы мы встретить, не так желали бы отозваться.

### *III. Петербургский сборник, изданный Некрасовым <sup>17</sup>*

Неутомим Петербург! Надо отдать ему справедливость. Толстые номера журналов и более или менее толстые сборники появляются один за другим. Деятельность необыкновенная. Да надо знать еще, какая эта деятельность, скажут многие из беспристрастных читателей. Конечно, надо еще знать, какова эта деятельность; тогда мы, может быть, поймем и причину ее. Если судить о деятельности вообще, то мы увидим, что все то, что условлено мыслию и внутренним трудом, совершается не так легко и скоро; мысль умеряет эту быст-

роту, и внутренняя деятельность часто замедляет внешнюю, как отсутствие внутренней деятельности часто бывает наоборот причиною многой деятельности внешней. Гораздо легче строчить всякий вздор, марать бумагу, править корректуры и т. д., нежели прочесть внимательно что-нибудь и о чем-нибудь не шутя подумать. Мысль и дельный труд в этом смысле — большая помеха. Но этой помехи не существует для Петербурга, и здесь-то заключается причина изумительной литературной деятельности. Петербургские литераторы сочли за нужное избавиться от тяжести мысли и труда, сбросили ее и быстро, налегке помчались по поприщу литературы.

Такова литературная деятельность Петербурга! Неужели, однако, в ней не найдем мы чего-нибудь, какого-нибудь явления, заслуживающего внимания? Неужели в таком множестве литературных произведений не попадется, хотя ошибкою, исключением, что-нибудь хорошее? Случиться может.

Перед нами еще плод петербургской деятельности, носящей на себе даже имя этого города.

«Петербургский сборник» начинается с повести<sup>18</sup> г-на Достоевского; она так отличается от всего остального, является таким исключением, что на нее должны мы обратить особенное внимание.

Рассказывать содержание повести, как обыкновенно у нас его понимают, мы не станем, да его и нет, что, по нашему мнению, нисколько не есть недостаток. Вся повесть — переписка молодой, бедной, несчастной девушки со старым бедным чиновником. Прежде всего скажем, что напрасно сочинитель избрал эту форму, саму по себе не удобную и сверх того им неверно выполненную. Мы уверены, что Девушкин (чиновник) говорил, мог говорить точно так, как в повести; но уверены в то же время, что он никогда не писал так; так может писать сочинитель, поставивший вне себя описываемое лицо, сознавший и ухвативший его своею художественною силою; но само лицо никогда бы не написало так, как говорит; иначе надо было бы ему тоже сознать само себя и вне себя поставить. Но эта ошибка, хотя и важная в художественном отношении, не мешает повести быть художественным произведением, произведением человека, в таланте которого нельзя сомневаться. Мы сказали в таланте; слово талант еще не определено; он может быть виден и не в художественном произведении; для живых образов, для одушевленного рассказа, для увлекательных описаний (что все может не иметь достоинства художественного) нужен талант; даже для того, чтобы расположить повесть, написать гладко, нужно уменье, дарование, даже талант. Таких талантов (не художественных) немало. И у гр. Соллогуба — талант, такой талант признаем мы бесспорно у г. Достоевского; но это

еще было бы не важно; дело в том, что мы находим у него и то, что выше такого разряда талантов. Вся повесть написана решительно под влиянием Гоголя; самобытность заключается в самом таланте. Влияние, правда, доходит до поразительного сходства, до подражания; но здесь можно извинить г. автора тою силою великого поэта, которая невольно овладевает, покоряет себе и увлекает за собою. Г. Достоевский взял форму, столько раз являвшуюся у Гоголя — чиновника и вообще бедных людей. Она является у него живо в повести. Но повесть его решительно не может назваться произведением художественным. Никакая прекрасная мысль, никакое прекрасное содержание еще не составляют художественного произведения. Здесь необходимо еще то творчество, то чудо, которое дает мысли, содержанию соразмерный и высоко действительный образ: так что сама мысль никогда не выдвигается, как мысль, а между тем вы приняли ее в свою душу, она сделалась частью вашего духовного бытия и никогда не оставит вас. — Вот великая задача художника, которой не исполнил г. Достоевский. Результатом такого недостатка то, что повесть его оставляет впечатление тяжелое, чего никогда не может быть при создании истинно художественном. Художник никогда ничего не доказывает; вопрос художественный есть вопрос исполнения, воплощения мысли; если этого нет, то как бы ни было прекрасно по мысли произведение, оно остается не художественным. Искусство требует полной преданности себе, и тогда оно облакает избранника дивною силою и высоко ставит его над людьми. Поговорим здесь о самом впечатлении или создании искусства. После художественного произведения у вас не остается тяжелого, сказали мы, впечатления, если, напр<имер>, бедный человек изображен в нем, — в вас не пробуждается даже сострадание: оно пробудится при встрече с бедным человеком в жизни; но это впечатление частное; художник идет глубже. Не возбуждая в вас никакого *частного* движения, он производит на вас *общее* впечатление; он действует на начало, на тот общий недостаток, который мешал вам видеть в бедном человеке — человека; он истребляет самый зародыш зла; он перерождает вас. Такова «Шинель» Гоголя, способная переродить человека; но не остается после нее тяжелого впечатления; вам не жаль Акакия Акакиевича. Глубокая, примиряющая красота художественного произведения обняла и внесла между тем в вашу душу новую жизнь, новое начало; светлее и чище, радостнее стало в вашей груди; впечатление, принятое вами, подействовало на всю душу вашу, и новая великая мысль поселилась в ней, которая на всю вашу жизнь будет иметь влияние. Такое творчество — удел немногих. Для истинного художника необходима полная преданность искус-

ству, полная искренность, полное беспристрастие; только при отсутствии всякой задачи может он решить великую задачу искусства.

Г. Достоевский не явил в своей повести, как в целом, художественного таланта. Это, конечно, первая его повесть, но в первых попытках истинного художника почти всегда уже виден его талант и свойство этого таланта, — эта искренность творчества, которая так неотъемлемо принадлежит ему. Но этого мы не видим в повести вообще у г. Достоевского; в ней нет этого бесцельного творчества. В одном журнале было замечено, что в его повести есть филантропическая тенденция; мы согласны с этим; это тенденция высокая и прекрасная, но это-то и мешает произведению быть изящным. Картины бедности являются во всей своей случайности, не очищенные, не перенесенные в общую сферу. Впечатление повести тяжелое и частное, потому проходящее и не остающееся навсегда в вашей душе.

Но, мы сказали, в г. Достоевском есть что-то, что выше разряда не художественных талантов; где же его проявление, если в его повести нет художественного достоинства?

В отдельных местах, истинно прекрасных. Хотя, конечно, творчество является в целом, но отдельные места могут быть прекрасны сами по себе и даже художественны; художественный талант может быть такой, которому по силам только эти отдельные места и не более. Укажем на Диккенса, разумеется, не думая нисколько сравнить его с г. Достоевским; у Диккенса именно художественны отдельные места, которыми он напоминает Гоголя, тогда как целое, по большей части, у него искусственно. В повести г. Достоевского очень хороши некоторые черты в характере бедной девушки; много прекрасного в истории студента Покровского и т<ак> д<алее>. Выпишем несколько строк из дневника бедной девушки:

«Осенний вечер я любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома, под горой, было озеро. Это озеро — я как будто вижу его теперь, — это озеро было такое широкое, ровное, светлое, чистое, как хрусталь. Бывало, если вечер тих — озеро покойно; на деревьях, что по берегу росли, листком не шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало. Свежо! холодно! Падает роса на траву, в избах на берегу засветятся огоньки, стадо пригонят — тут-то я и скользя тихонько из дому, чтобы посмотреть на мое озеро, и засмотрюсь бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко-далеко по воде льется. Небо такое холодное, синее, и по краям разведено все красными, огненными полосами, и эти полосы все бледнее и бледнее становятся; выходит месяц; воздух такой звонкой, порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерочка, или рыбка всплеснется в воде, — все бывало слышно. По сивей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет: все как-то тонет в тумане, а вблизи так все резко

обточено, словно резцом обрезано — лодка, берег, острова; бочка кляжибудь, брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на воде, ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше, — вспорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной воде, то опять вспорхнет и утонет в тумане — я засматривалась, заслушивалась, — чудно хорошо было мне. А я еще была ребенок, дитя!

Я так любила осень, — позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки, когда уже все ждут зимы. Тогда все становится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса, а лес синеет, чернеет — особенно вечером, когда спустится сырой туман, и деревья мелькают из тумана как великаны, как безобразные, страшные привидения. Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь одна, спешишь, — жутко! Сама дрожишь как лист; вот, думаешь, того и гляди, выглянет кто-нибудь страшный из-за того дупла; между тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет тучу листьев с чалых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длиною, широкою, шумною стайей с диким пронзительным криком пронесутся птицы, так что небо чернеет и все застилается ими. Страшно станет, а тут, точно как будто услышишь кого-то, чей-то голос, как будто кто-то шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги дитя!» — ужас пройдет по сердцу, и бежишь; — бежишь так, что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам всем детям работу, горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня, Ульяна, рассказывает про старое время или старинные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим, разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! — Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа как цветочек. Посмотришь в окно: морозом прохватило все поле; тонкий, осенний иней повис на обнаженных сучьях; тонким как лист льдом подернулось озеро; встает белый пар по озеру; кричат веселые птицы. Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают в стекло тонкий лед. Светло, ярко, весело. В печке опять трещит огонек; подсядем все к самовару, а в окна посматривает продрогшая ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает хвостом. Мужик проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все так довольны, так веселы! На гумнах запасено много-много хлеба; на солнце золотятся крытые соломой скирды большие-большие; отрадно смотреть! И все спокойны, все радостны; всех господь благословил урожаем; все знают, что будут с хлебом на зиму; мужичок знает, что семья и дети его будут сыты; — оттого по вечерам и не умолкают звонкие песни девушек и хороводные игры, оттого все с благодарными слезами молятся в доме божьем в праздник господен! Ах какое золотое-золотое было детство мое!..» (стр. 121, 122, 123 и 124).

Замечательно мнение Деушкина, когда он прочел «Шинель» Гоголя: он обиделся; это кажется нам натянутым. Деушкин обижается за то, что бедный чиновник выставлен в смешном, обидном для него виде, и невольно узнает в нем хотя отчасти себя. Он обижается будто бы за то, что не показана в нем хорошая сторона его. Странно! Нам кажется совершенно напротив. Именно в этом жалком бедном чиновнике, несмотря на низкую степень, на которой стоит он, Гоголь видит человека, и пробуждает это же чувство в читателе; не только не унижен, но возвышен этот бедный ничтожный чиновник во имя человеческого братского чувства. Но выпишем лучше эти живые, многознаменательные строки Гоголя, которых не забудут люди и сохраняют, как великое свое достояние, возвышающее человека, — строки, в глубокий животельный смысл которых долго и долго надо вникать. Вот они:

«Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он (Акакий Акакиевич) произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижают».

И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом среди самых веселых минут представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижают» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрыл себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...» (стр. 253 и 254)<sup>19</sup>.

Замечательно, что строки эти именно следуют за тем местом, где сыплют на голову Акакию Акакиевичу бумажки, о чем упоминает Макар Деушкин, говоря, что тут бы следовало сказать, что он (чиновник) такого обхождения не заслуживал. И Макар Деушкин, который выставлен, кажется, не таким, чтобы не понять этого места, который все твердит, что он человек, не понял однако же этих строк. Странно. В этом, кажется, виноват уже сам г. сочинитель. Не хотел ли,

впрочем, сказать г. Достоевский, что тяжело впечатление повестей Гоголя для бедного человека. Еще страннее! Это значит не понимать повести Гоголя, и только. Макар Девушкин обиделся не только за бедного чиновника, он обиделся и за его превосходительство. Надо прибавить, что его превосходительство выставлен у г. Достоевского человеком благороднейшим — *превосходным*.

Вот наше мнение о повести г. Достоевского! Несмотря на то, мы еще не знаем, что будет вперед, и не можем судя по первой повести (хотя говорится, что видна птица по полету) сказать решительно: нет, г. Достоевский не художник и не будет им. Надо подождать, что будет далее.

Между тем вышел 2-й № «Отечественных» записок за 1846 г., и в нем помещена другая повесть г. Достоевского. Мы прочли ее; сделаем маленькое отступление, оставим на время разбор «Сборника» и скажем об ней.

Эта повесть называется «Двойник»; на сцене тоже чиновник, титулярный советник, Голядкин. В этой повести видим мы уже не влияние Гоголя, а подражание ему; но так как подражать творчеству нельзя: надо самому иметь творчество, а тогда это уже подражанием не будет, то г. Достоевский подражает приемам, внешним движениям Гоголя, одной наружности, не понимая, как видно, что у Гоголя все это прекрасно, потому что самобытно живо, вытекает из внутренней причины, а когда кто-нибудь, погнавшись за сходством, схватит только одну голую внешность, одни приемы, не ухватив духа, жизни, облекшейся в них, то это выйдет до неясности безжизненно, сухо и скучно. Таков г. Достоевский в этой своей повести длинной и до невероятности утомительной. В ней г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подражание, а заимствование. Мы даже просто не понимаем, как могла явиться эта повесть. Вся Россия знает Гоголя, знает его чуть не наизусть; — и тут, перед лицом всех, г. Достоевский переиначивает и целиком повторяет фразы Гоголя. Разумеется, это только одни фразы, лишённые своей жизни; это одно голое подражание внешности великих произведений Гоголя. В этом только и состоит вся повесть: ни смысла, ни содержания, ни мысли — ничего. Г. Достоевский из лоскутков блестящей одежды художника сшил себе платье и явился храбро перед публикой. Не угодно ли видеть образчик:

Все, по-видимому, и даже природа сама вооружилась против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит, что он никак не уступит, что «если, дескать, сударь мой, не хотите на деликатную по-



гу, то мы и за крутые меры возьмемся. Что, дескать, вот как-с, что, дескать, вот оно как-с, милостивый мой государы!» Господин Голядкин чувствовал даже, что обязанность его была восстать всеми силами против угрожавшего бедствия, сломить рог гордыни и посрамить непристойную злонамеренность. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли все это так, не отступить ли запросто? Ну что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я (думал г. Голядкин): пропускаю все мимо; не я да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плевое дело! обыкновенное дело!..» Здесь г. Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места (стр. 339—340)<sup>20</sup>.

Право, уж не мистификация ли это? Не забавляется ли над публикой г. Достоевский; но это предположить трудно.

Неужели это талант? Это жалкая пародия; неужели что-нибудь может возбудить она, кроме скуки и отвращения? Неужто же г. Достоевский думает, что, схватя эти чужие приемы, он схватил сколько-нибудь чужое поэтическое достоинство? Неужели думает он, что в этом есть какая-нибудь заслуга, даже какая-нибудь трудность? Для примера и чтобы не искать постороннего предмета, будем продолжать нашу критику языком г. Достоевского:

Приемы эти схватить не трудно; приемы-то эти вовсе не трудно схватить; оно вовсе не трудно и не затруднительно схватить приемы-то эти. Но дело не так делается, господа; дело-то это, господа, не так производится; оно не так совершается, судари вы мои, дело-то это. А оно надобно тут знаете и тово; оно, видите ли, здесь другое, требуется, требуется здесь тово, этово, как его — другова. А этово-то, другово-то и не имеется; именно этово-то и не имеется; таланта-то, господа, поэтического-то, господа, таланта, этак художественного-то и не имеется. Да вот оно, оно самое дело-то, то есть, настоящее вот оно как; оно именно так.

Много можно бы исписать печатных листов таким языком, но у кого же на это будет довольно духу, терпения и... и... храбрости, положим.

Говоря о повести г. Достоевского «Двойник», можно повторить слова, которые часто повторяет у него г. Голядкин:

Эх плохо, плохо! Эх плохо, плохо! Эх дельце-то наше как плоховато! Эх дельце-то наше чего прихватило.

Да точно не хорошо и нехорошего прихватило.

Если бы не первая повесть г. Достоевского, мы никак не

имели бы терпения прочесть его вторую; но мы сделали это по обязанности, желая что-нибудь найти в его повести, и ничего не нашли; она так скучна, что много раз оставляли мы книгу и принимались снова и насилу-насилу прочли ее. Конечно, судя по первой повести, мы никак не ожидали, чтоб была такова вторая. Где талант, который видели мы в первой повести? Или его стало только на одну.

Недолго польстил надеждою г. Достоевский; скоро обнаружил он себя.

Мы уже не имеем теперь духу сказать: подождем, что будет далее.

В «Петербургском сборнике» есть статья г. Искандера<sup>21</sup>, которую мы причисляем к числу умных, замечательных. Выпишем несколько строк.

«Наполеон с содроганием говорил о гнусной привычке беспрестанно лгать. Мы лжем на словах, лжем движениями, лжем из учтивости, лжем из добродетели, лжем из порочности; лганье это, конечно, много способствует к растлению, к нравственному бессилию, в котором рождаются и умирают целые поколения, в каком-то чаду и тумане проходящие по земле. Между тем, и это лганье сделалось совершенно естественным, даже моральным, мы узнаем человека благовоспитанного — по тому, что никогда не добьешься от него, чтоб он откровенно сказал свое мнение» (стр. 211).

Справедливо говорит он, что чисто прибраны у нас гостиные и залы, но не прибраны внутренние комнаты дома. Замечание справедливо; а они, эти внутренние комнаты, конечно, главные существенные комнаты дома. Мы понимаем это так: хлопочем мы о жизни общественной или лучше гостиной, а жизнь семейная часто у нас забыта или пренебрежена; семейная же жизнь есть неотъемлемая основа и условие истинно общественной и человеческой жизни, без нее их нет.

Можно бы сюда отнести и стихотворение г. Некрасова «В дороге»; оно было бы очень хорошо, если б не было мелочных подделок под русскую речь, как-то: *тот, эта и эти*.

Вот все, что есть замечательного в «Петербургском сборнике».

О переводе «Макбета» мы не говорим; об этом надо говорить много и не в числе других произведений. Благодарим г. Кронеберга<sup>22</sup> за труд его.

Все остальное нечто иное, как балласт, годный для той *здоровой толщины*, по выражению «Отечественных» Зап<исок>, о которой так хлопочут петербургские литераторы.

Приступим к разбору и этого хлама.

Первое произведение, следующее за повестью г. Достоевского, есть «Помещик» г. Тургенева. О г. Тургеневе! Нельзя

сказать, чтоб он не совершенствовался: он был плох в первом произведении своем<sup>23</sup>, подавал и в нем надежды, и оправдал их; он пишет постоянно плоше и плоше. Но что сказать о его «Помещике»? Здесь он превзошел немалые ожидания. Это произведение так уж плохо, такой вздор; так жалко желание острить; так смешно какое-то чувство будто бы превосходства при описании выставляемых им в карикатуре лиц, что лучшая критика: прочесть самое произведение. Нельзя однако же не выписать хоть чего-нибудь. Вот описание уездного бала:

Вообразите вереницу  
Шiroких лиц, больших носов,  
Улыбок томных, башмаков  
Козлиных, лент и платьев белых,  
Турбанов, перьев, плеч дебелих,  
Зеленых, серых, карих глаз,  
Румяных губ и... и так дале —  
Заставьте барынь кушать квас —  
И знайте, вы на русском бале

(стр. 188).

Каково! «Сейчас можно видеть столичную штучку», — сказала бы наверно Анна Андреевна в «Ревизоре». Вообще в петербургских литераторах видно чувство аристократическое перед всем, что не Петербург, чувство *превосходства*, похожее на аристократическое чувство, как бы сказать... людей *служебных* перед простыми крестьянами.

Г. Тургенев оканчивает свой рассказ, говоря:

Но весело сказать себе:  
Конец мучительной гошьбе  
За рифмами... придумать строчку  
Последнюю, поставить точку,  
Подняться медленно, легко  
Вздохнуть, с чернилами проститься —  
И перед вами глубоко,  
О мой читатель, поклониться!

Неужели в самом деле? Нет! напрасная надежда: в этом же сборнике еще встречается имя г. Тургенева.

За г. Тургеневым следуют «Капризы и раздумье» г. Искандера, о которых мы уже сказали. За ними же «Парижские увеселения» г. Панаева<sup>24</sup>. Вот еще писатель в роде г. Тургенева, с большим притязанием на юмор, он выставляет здесь парижскую чернь, гризеток и т. п. Рассказ его имеет некоторый довольно, впрочем, ничтожный интерес; но когда он пускается в рассуждения, в юмор, думает острить — все это выходит в высочайшей степени пошло. Он и г. Тургенев имеют то сходство, что оба желают выставлять в произведениях своих лица, возбуждающие юмор; но в том и в другом произве-

дени единственное лицо, возбуждающее юмор, — сам автор. Таким образом они, если угодно, достигают своей цели\*.

Вот «Мартингал», повесть г. Одоевского. Г. Одоевский любит иногда пошутить в своих повестях, да, кажется, он любит подшутить и над читателями; по крайней мере, нельзя объяснить этой повести иначе, как шуткою над читателями, которые прочтут повесть и не найдут в ней ровно ничего.

С неприятным и грустным чувством прочли мы поэму<sup>25</sup> г. Майкова. Не того мы ожидали от него, прочитавши в прошлом году вышедшую поэму его под названием «Две судьбы». Кстати, поговорим о ней, и прежде всего напомним ее содержание. Нинета, итальянка, любит с детства итальянца Карлино, не понимая, что эта любовь — дружба. В Италии в это время путешествует русский Владимир, как водится, с бледным челом, с подавленными страстями, — одним словом, человек знакомый. Он приходит к Карлино, любит его и Нинетою, говорит, что он желал бы быть на месте Карлино, был бы счастлив... Нина почувствовала вдруг, что ее любовь к Карлино есть только привычка, что он с детства был ей братом. Она начинает любить Владимира. Страсть ее усиливается, когда Владимир раскрывает ей свою душу, разочарованную в новом, и тоже отчасти Лермонтовском, роде. Нина любит: так хотел представить сочинитель; но в любви ее есть рассуждение, есть мысль помирить его с существованием; нам кажется это уже не цельным чувством; хотя это желание и может привязываться к любви, но со стороны. Владимир узнает о чувстве Нины и хочет ехать, чтобы не смущать ее более. Она приходит больная к нему, решается следовать за ним в Россию; является Карлино, завязывается ссора; Карлино убивает Нину, зовет народ и обвиняет Владимира в убийстве. Его берут. Через неизвестно сколько времени Владимир в России, живет в деревне и отличный гастроном; из журнала узнает он, что Карлино, атаман разбойников, пойман и приговорен к смертной казни; Владимир сравнивает свою судьбу с его судьбой; говорит: «Чем же лучше я» и потом объявляет Павлушке:

---

\* Мы должны указать на появившийся в 1 № «Современника» превосходный рассказ г. Тургенева «Хорь и Калиныч». Вот что значит прикоснуться к земле и к народу: вмиг дается сила! Пока г. Тургенев толковал о своих скучных любвях, да разных апатиях, о своем эгоизме, — все выходило вяло и бесталанно; но он прикоснулся к народу, прикоснулся к нему с участием и сочувствием, и посмотрите, как хорош его рассказ! Талант, таившийся в сочинителе, скрывавшийся во все время, пока он силился уверить других и себя в отвлеченных и потому небывалых состояниях души, этот талант вмиг обнаружился и как сильно и прекрасно, когда он заговорил о другом. Все отдадут ему справедливость: по крайней мере, мы спешим сделать это. Дай бог г. Тургеневу продолжать по этой дороге!

За ужином я гуся буду есть,  
Да сыр. В еде спасенье только есть.

Завязка, содержание — пустое. Но в этом произведении есть мысль или намерение сказать мысль, которая, конечно, выразилась несколько не художественно, но на которую стоит обратить внимание. Россия и западное образование, этот неизбежный вопрос, является и здесь. Владимир — русский; он так же, как и другие, увлечен и проникнут Западом. Но он вместе человек живой; в нем видна, убегающая от всех теорий, любовь к русской земле. Сверх того, и мысль его смущена ее прошедшим, полным жизни (по его собственному признанию). Недоумение это есть большой шаг к истине. Он сравнивает древнюю Русь с настоящим нашим поколением и удивляется страшной разнице, страшной апатии, царствующей между нами. Он не решает вопроса. Что в нашем поколении есть апатия — это правда; но понятна тому причина. Такою апатией и бледностью, таким жалким эгоизмом, — с одной стороны, животным и бесчувственным, с другой — идеальным, сухим, иногда тоже довольным красивою своею позою, иногда, у более живых людей, возмущаемым чрез сомнение, вопрос, желание чего-то лучшего, — этою апатиею и эгоизмом казнятся люди русские за презрение к народной жизни, за оторванность от русской земли, за аристократическую гордость просвещения, за исключительность присвоенного права называть себя настоящим и отодвигать в прошедшее всю остальную Русь. Спесивое невежество противопоставляют они всей древней, всей остальной, и прежней и нынешней, Руси, — гордость учеников, ставящих себя в свою очередь в учителя. Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни; мы сохнем и вянем. Но нас спасает глубокая сущность русского народа, и тот виноват сам, кто не обратится к ней. Владимир у г. Майкова задумывается и любит Русь, — и вот почему мы отличаем это произведение от других. Как скоро чувство истинно, как скоро оно свободно от авторитета, оно найдет истинную дорогу и возвратится из отвлеченности эгоизма к жизни живой, народной. Прибавим, что только эта дорога может спасти от катастрофы гуся и сыра, которою оканчивается поэма г. Майкова.

Несмотря на то, что между прекрасными стихами встречаются в ней и плохие, что в самых мелочах обнаруживается часто незнание русского быта (наприм <ер>, *костоломный пар* — противно пословице, пристяжные в беговых дрожках и проч.); хотя видно, что идея народности для г. Майкова совсем не ясна, ибо он полагает ее, между прочим, в предпочтении Казанского собора храму св. Петра<sup>20</sup> и поэтому боится в ней исключительности, и боится напрасно, ибо эта исключительность ей не свойственна и не принадлежит; — несмотря

на все это, мы видели в этой поэме зародыш многого прекрасного; в ней затрагивались серьезные вопросы. Далекое не оправдал г. Майков надежд, которые мы на него полагали: его поэма в «Петербур<ургском> сборнике» представляет не более как вялый, избитый стих и такое же содержание. Есть несколько поэтических стихов; вот они:

Василий Тихович открыл окошко  
Другое в сад — и ветерок с кустов,  
Как мальчик милый, но шалун немножко,  
Его тиконько ждавший меж цветов,  
Пахнул в лицо ему, в покой прорвался,  
Сор по полу и легкий пух погнал,  
На столике в бумагах пошептал  
И в комнате соседней потерялся.

(стр. 397)

И только. Все остальное скучно и вяло. Г. Майков становится в ряд скучных стихотворцев, пожалуй даже таких, каков знаменитый уже в этом роде г. Тургенев.

Он легок на помине; вот его прозаическая повесть<sup>27</sup>, где предметом повествования — гнилой, бесстыдный и презренный человек, от которого разве можно отворотиться. Повесть достойна сюжета.

А вот и г. Никитенко. Мы разобрали довольно подробно его «Опыт истории русской литературы». Он себе верен, и его статья написана в таком же роде<sup>28</sup>. Напр<имер>:

«Слава мужей, украшенных классической доблестью воли, этим дивным слиянием простоты и величия, коим мы, маленькие великие люди своего поколения, едва умеем верить» (стр. 491).

Это что значит? Г. Никитенко причисляет себя к *маленьким великим людям*. — Открытие замечательное; отныне мы будем знать, кто он. Выпишем следующее место:

«Но что ж итальянского в этой бессмертной эпопее, объемлющей всю судьбу, всю вечную будущность нового, искупленного человека?» (стр. 496).

В поэме Данта, конечно, общее человеческое содержание, всякий, кто читал его, это знает; но в то же время в ней лежит решительно характер Италии. *Маленький великий человек ошибся*.

Вот еще:

«Очевидно, что народность должна была отказаться от многих из своих притязаний в искусстве, развившемся под влиянием этих новых начал. Она не может уже исключительно наполнять собою содержания произведений, как это было у греков, ни служить единственным источником вдохновения для художника» (стр. 497).

Хотя, конечно, есть разница очень понятная, естественная и разумная между стихиями искусства; но искусство всегда и на Востоке и в Греции имело своим содержанием общее, человеческое. *Маленький великий человек* опять ошибся.

О мелких стихотворениях Тургенева, Майкова, Некрасова и Соллогуба говорить не стоит<sup>29</sup>.

В заключении помещена статья о русской литературе г. Белинского<sup>30</sup>.

Г. Белинский в статье, в которой в сотый раз повторяется повторявшееся прежде в «Отечественных Записках», открывает, между прочим, новости, конечно, известные ему одному, ибо они неизвестны истории, именно:

«Реформа Петра Великого не уничтожила, не разрушила стен, отделявших в старом обществе один класс от другого, но она подкопалась под основание этих стен, и если не повалила, то наклонила их набок» (стр. 519).

Это точно новость! На деле это совершенно наоборот. Петр не только не пошатнул стены между сословиями, но он-то и построил их. В старину до Петра Великого их вовсе не было. Для этого следует заглянуть не в «Историю» Карамзина<sup>31</sup> только, а в летописи и грамоты, в акты исторические, которых вышло и продолжает выходить множество. Можно бы заглянуть и в иностранные сочинения о России, в «Дневник» Маскевича<sup>32</sup> напр<имер>, и т<ак> д<алее>. Но, видно, санктпетербургские литераторы плохо знают русскую историю; да и когда им; они хлопчут о дородстве журналов и сборников. Во всяком случае, г. Белинский обнаружил такими словами свое собственное невежество.

Интересно также в статье г. Белинского название Ломоносова — мещанином, а он был рыбак, крестьянин. Кто этого не знает? Но, вероятно, г. Белинскому захотелось хотя сколько-нибудь повысить его. Его крестьянство, может быть, казалось ему слишком уже низким сословием для литератора.

Но тут есть вещи истинно дельные, именно: г. Белинский говорит о необходимости национальности в поэте, об успехе Гоголя в Европе (которым опровергнуты «Отечественные Записки», ибо они говорили прежде, что Гоголь европейского интереса не имеет). Справедливы также следующие строки, противоречащие тоже «Отечественным Запискам»:

«В будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль...» (стр. 556).

Но остальное, как сказали мы, есть болтовня, повторение столько раз повторявшейся болтовни о русской литературе, болтовни, которую встречали мы в «Отечественных Записках».